

АННА ЛУЖБИНА

ЮРКИЕ ЛЮДИ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Анна Андреевна Лужбина

Юркие люди

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69765820

Юркие люди:

ISBN 978-5-17-158064-3

Аннотация

Анна Лужбина – прозаик, финалист премии «Лицей» (2023). Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Этажи». Окончила философский факультет РГГУ и Московский институт психоанализа, ведет частную психологическую практику. «Юркие люди» – ее первая книга.

Это сборник о людях, которые не гонятся за большим успехом, не стремятся соответствовать золотым стандартам. В огромном и пестром мире они ищут свое место и верят, что в конечном итоге все будет хорошо.

Содержание

Мотылек	5
Два утра	14
Зимовка	27
Зона покоя Укок	35
Мапа Рома	55
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Анна Андреевна Лужбина

Юркие люди

© Лужбина А.А.

© Козинаки М., иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

Мотылек



Бабуничка говорила, что перед смертью люди понимают птичий язык. Ефим этому верил, как и многим другим вещам, которые рассказывала ему бабуничка. Прислушивался к чириканью воробьев, боялся знакомого слова.

Бабуничка говорила, что родители Ефима летели в белом самолете и упали в море. Но что люди, упавшие в море, не умирают, а отрачивают жабры и живут амфибиями.

Бабуничка пела колыбельную про волчка, который придет и укусит за бочок. Волчок виделся Ефиму в бегущей по потолку тени или волчий вой слышался в ветре. Тогда бабуничка стала оставлять под кроватью блюдце с молоком и сухарики. И Ефим успокаивался.

У бабунички был дом, закрытый ивой, и крыша у дома была голубая. На деревню Малые Крючки всего двадцать домов, а с голубой крышей только один. Ефим часто залезал на эту крышу, и все ладони были потом в голубых точках. Он ложился, раскинув руки в стороны, и обдумывал, как бы сделать крылья.

С крыши дома бабуничка прыгать Ефиму не разрешала, слишком высоко. Поэтому Ефим мастерил крылья и прыгал с крышки компостного ящика, а напрыгавшись с ящика – прыгал с качелей, привязанных к ветке ивы. Размахивал конструкцией из перьев и палочек или растянутым бабуничкиным цветастым платком, но все без толку.

В Малых Крючках школы не было, поэтому Ефим ходил в соседнюю деревню, в Большие Крючки. Там помимо школы

пятьдесят два дома, а еще рынок, церковь, банк и клуб.

Идти было недалеко и приятно. Зимой на лыжах, а летом пешком, через колючие колоски. В Больших Крючках Ефим мог купить что-нибудь на рынке, а еще раз в месяц заходил в банк, чтобы снять бабуничкину пенсию и свое пособие. Сама бабуничка Большие Крючки недолюбливала за суету. Да и вообще говорила, что деньги не так важны, как хозяйство. А чтобы все было в порядке с хозяйством, бабуничка держала под скатертью заговоренные рожь и пшеницу.

Взрослел Ефим быстро. Молоко из блюда под кроватью пил сам, если ночью становилось голодно. На крышу залезал теперь, только когда читал или фантазировал. На качелях качался для удовольствия, не спрыгивая. И со временем начал замечать, что ветка ивы, на которой держались качели, стала скрипеть и осыпаться голубоватой выцветшей плесенью.

Одним вечером бабуничка, сидя на скамейке, лечила руку. Рука была как неживая, землистого цвета и чуть меньшего размера, чем нужно. Бабуничка прикладывала к ней раздавленные ягоды барбариса, чтобы очистить кровь и вернуть коже розовый цвет.

Услышав хруст в ивовой ветке, подошла ближе и, наклонив голову, задумалась. Ефим раскачивался и лузгал семечки. Ветка кряхтела, птичка на верхушке неразборчиво щебетала, а где-то далеко, в вечернем тумане, кричала на ленивого мужа злая Люда.

– Ива уже старая, – сказала бабуничка, – слезай, Ефимка.

За ужином бабуничка о чем-то думала, спрятавшись за самоваром. Ефим крутил головой, но видел только самого себя в золотом отражении и бабуничкины руки. Неживая рука была завернута в тряпочку.

В молчании есть не хотелось, еда становилась безвкусной. Ефим вымыл посуду, почистил зубы и улегся в кровать.

Перед сном бабуничка села к Ефиму в ноги и откашлялась, будто бы собралась громко петь.

– Нам надо подготовиться к моей смерти, – сказала она вместо пения.

Ефим спрятал голову под подушку.

– Я столько лет живу, что смерти не боюсь. И ты не бойся. Надо только, чтобы ты был в Малых Крючках, а не в детском доме. Плохо там, в детском доме.

Ефим перевернулся набок, уперся лбом в шершавое дерево и закусил край одеяла. Бабуничка встала с кровати, и все затихло, слышно было только, как за стеной шебуршат мыши.

На следующий день они пошли в Большие Крючки вместе: Ефим в школу, а бабуничка на рынок, чтобы продать трех коз. Ефиму было жалко коз, бывают козы кусачие, а эти были ласковые, как котята.

Еще через день бабуничка продала кур и кроликов. Цесарок оставили, чтобы те шумели на чужаков вместо собак.

Ефим блуждал вдоль пустых загонов, думая о том, что после лета наступает осень.

Все деньги отнесли в банк и положили на книжку Ефима. Там же бабуничка подписала свое завещание, и подпись у нее была буквой А. Согласно завещанию, все уходило внуку. Ефим завещание читать отказался, сидел на банковском неудобном стуле и гонял в голове мысли, выискивая ту, которая могла бы его успокоить. Быстро нашел: бабуничка готовится к плохому, но проживет еще много лет.

Однако вечером бабуничка вытащила из сундука потерянный кожаный саквояж и стала складывать в него вещи.левой рукой она уже почти не двигала, приложила ее к животу, как умершую.

– Ты куда? – заволновался Ефим.

– Умирать ухожу.

– Почему не дома?

– Дом для живых. Когда дома кто-то болеет – плохо.

– А если ошибаешься?

– Ты меня послушай, Ефим. Окончи девять классов и уезжай. Осень тебе переждать и зиму. Готовься к поступлению в училище, а там уже будешь взрослый.

– Зря всё продали.

– Не зря.

– Денег все равно мало.

– А пенсия моя на что?

– Так разве же это честно?

– Честно, нечестно – все ерунда, – сказала бабуничка, – я хочу, чтобы ты, Ефимка, выучился в большом городе, в Глюклихе. Лучше, чем в Глюклихе, нигде не учат.

Ефим топнул ногой, выбежал во двор и залез на крышу. Бабуничка вышла тоже, подошла ближе и продолжила говорить то ли с домом, то ли с Ефимом:

– Ты молодой, а я старая. Ты смерти не боишься по незнанию, а я ее не боюсь, потому что все уже про нее поняла. Надо делать то, что нужно, и не кукситься. Соседям я скажу, что уехала лечиться.

Зашелестела ива, бабуничка вернулась в дом. Ефим лежал на крыше и, чтобы отвлечь себя от грусти, стал считать звезды, но так и уснул. Наутро вроде бы слышал, как скрипнула дверь, но не проснулся. А когда проснулся – остался совсем один.

В Малых Крючках Ефиму сочувствовали. Ему же хотелось, чтобы его не видели. В любом общении Ефим ощущал, что люди вокруг маленькие, что даже взрослые – маленькие, а он один – взрослый.

Больше прочих волновала Ефима злая Люда. Один раз он даже видел, как она смотрит в его окно. Водит носом, вращает круглыми глазищами на бледном лице.

А позже злая Люда показалась в Больших Крючках, когда Ефим снимал бабуничкину пенсию. Сказала, что дольше, чем три месяца, в больнице не держат.

– А если все еще болеют? – спросил Ефим, глядя в сторону.

– Если долго болеют – значит, дело к умиранию. Тогда домой отправляют, чтобы не замараться.

– Я завтра поеду в больницу и все узнаю, – соврал Ефим. Когда вернулся домой – увидел сломанную ветром ветку ивы, обездвиженные сброшенные качели. Ефим разозлился, распилил ветку на дрова и раскочегарил печку.

Всю следующую неделю Ефим кружил по лесу, собирал в карманы замерзшие грибы и думал, что делать. Считал в уме отложенные деньги: хватит ли по весне на билет до Глюклихи, чтобы сдать экзамен в училище. Какое училище? Лучше летное.

Подумав о хорошем – падал, думал о плохом. Было ясно, что злая Люда никуда не денется, так и будет его доставать. Ефим перебирал идеи, как поступить, и, увидев белого зайца на фоне первого снега, наконец придумал.

Вернувшись домой, он прошел в бабуничкину комнату, открыл ее сундук с оставшимися вещами. Одежды там было много, и вся пахла живой бабуничкой. Горячим чаем, блинами, кислой сметаной.

На следующий день после школы Ефим включил во всех комнатах свет и оделся в бабуничкину одежду. Завязал тот самый платок, с которым учился летать, надел юбку в пол и вязаную кофту с заштопанными на рукавах дырочками.

Больную руку замотал в тряпку и старался ею не шевелить. Ссутулившись, стал медленно хромать по дому.

Отдыхал в тех окнах, которые прятала от соседней ивы. Когда через полчаса зашумели цесарки, а мимо окна прошеле-стела тень – успокоился. Выключил свет, разделся и уснул.

Наутро, впервые с лета, открыл в бабуничкиной комнате шторы. Взял тыкву, завернул ее в платок и уложил на подуш-ку, рыжим к стенке. Под одеяло спрятал бабуничкины вещи, а сам пошел в школу.

– Баба вернулась, – сказал он ленивому мужу злой Люды, покачивающемуся на пути в Большие Крючки.

Муж выглядел плохо. Нос как перезревшая влажная слива, а глаза печальные.

– Мы уже видали, – ответил тот. На шее у него висел би-нокль.

Так Ефим дотянул до конца весны. Ходил вдоль окон то собой, то бабуничкой. В мае пошел на станцию и купил билет до Глюклихи. Потом в магазине набрал разных продуктов на ужин: слоеный язычок, быстрозавариваемую вермишель и консервы.

Дорога домой темная, вдоль кружевной тени леса. Слыш-но то уханье совы, то шорох листьев, то чье-то нашептыва-ние. Подходя к Малым Крючкам, Ефим увидел, как в май-ской черной ночи тянется в небо свет от полицейской мигал-ки.

Он остановился. Стал перебирать все плохое, что могло случиться. Нашли тело. Злая Люда влезла в дом и увидела, что в кровати спит тыква. Теперь его отправят в тюрьму, а ему там, видимо, самое место. Из тюрьмы выйдет пустым стариком: ни образования, ни дома, ни семьи.

Ефим снова пошел вперед, хотя ноги дрожали, а страх сменился жалостью. Он чувствовал себя преступником, который не сделал ничего дурного, но не заслуживает пощады.

Над домом большой тенью возвышалась ива, закрывала дом почти полностью. Всюду летали черные точки майских жуков. Но машины стояли будто бы поодаль, а где-то справа чернильной кляксой теснились громкие люди. Ефим подошел к людям и, занизив для чего-то голос, спросил, что произошло.

– Привет, Ефимка. Людка побила мужа, а тот побил Людку, – сказала соседка, не отводя взгляда от спящих и голосящих людей. – Ору было до самой Глюклихи.

– Понятно, – ответил Ефим и юркнул домой.

Дома спрятал билет подальше, поставил чайник. Домашние звуки казались ему громче тех, что были на улице. Тикали часы, шумела вода, мотылек бился крылышками о лампу. Ефим схватил его аккуратно и выпустил в открытое окно. Мотылек нарисовал круг в воздухе и полетел куда-то высоко.

«На луну летит», – подумал Ефим.

Два утра



Чаще всего я просыпаюсь от криков Гуя.

– Тя-а-а-ай!

Про Гую я знаю все. Я брала у него интервью для нашей газеты. Раньше он был мусорщиком, теперь развозит по базару золотой чай. В другой стране у Гуя остались семь старших братьев и недостроенный дом.

Гуй кричит высоко, чтобы было лучше слышно. Тетя называет его китайской чайкой. Гуй называет тетю нефритовой, потому что тетя торгует бусами.

– Гу-у-уй! – кричу я.

Из скворечника меня почти не слышно. Гуй толкает тележку, чешет нос длинным ногтем. Навстречу ему тащат ковры. Дорога для грузов в узбекский квартал идет через наш китайский.

Скворечник – место над лавкой: и склад, и спальня, и офис. В скворечнике жить выгодно. Я закрываю шторы, в темноте переодеваюсь из пижамы в уличное. Кручу одеяло вокруг подушки, прячу в пакет. Снаружи становится тише, и слышно пение Алика. Люди под это пение молятся, а кто-то старается не мешать.

Алик торгует школьной формой. Это очень красиво. В августе вся его лавка увешана белыми бантами и ее видно из любого скворечника. Алик мечтает накопить на дутор с шелковыми струнами. Это такой инструмент, похожий на грушу или на слезу.

Тетя говорит, что молиться надо с восходом солнца. Но

Алик отказывается вставать до рассвета, а никто не поет так красиво, как он.

Внизу носильщики уже постелили коврики, сняли шлепанцы, опустили головы. Видно только их круглые спины и руки подо лбом. Утро на базаре – особенное время. Утром люди верят в чудо и молятся разным богам, а к вечеру выдыхаются. Тетя говорит, что на Черкизовский рынок она тоже приехала утром, вместе с мужем-китайцем. Лавка с бусами стала домом, а потом муж-китаец устал. Тете он оставил все бусы и драгоценные камни. Наверно, так же устала мама: она пришла к тете и попросила позаботиться обо мне. Тетя говорит, ей все дарят драгоценности, потому что она удачливая.

– Вот тот зеленый ковер в ромбиках, Тахир, дорогой, сколько стоит этот ковер? – спрашивает тетя одного из молящихся.

Не поднимая лица, Тахир вытягивает вверх три кривых пальца, но тетя цокает языком. Тогда Тахир прячет указательный палец и вместо него тянет мизинец.

– Женщина, есть ли бриллианты? – доносится хитрый голос.

Сбоку от лавки стоит красный блестящий мужчина. Хитрые люди всегда покупают первыми.

– Вам для поделок или на нитке? – спрашивает тетя.

– Покажите...

– Олечка, смотри-ка, твой Ха-Джун.

Ха-Джун и правда машет рукой, обходит спины молящих-

ся. На голове у него соломенная шляпа с желтым цветком. Он живет во вьетнамском квартале на улице с колготками, но говорит, что на самом деле кровь у него корейская, как острая морковь из столовой.

– О-о-оля! – тянет Ха-Джун. В руках у него мисочки, и от них вкусно пахнет. Он вытаскивает цветок из шляпы и протягивает мне.

– Ты дорисовал статью? – смотрю по-взрослому, снизу вверх. Я ведь уже говорила, что у нас своя газета?

Ха-Джун кланяется тете, кланяется красному мужчине, вытаскивает из-за спины пачку бумаги.

– Не помни газету! Нам ее еще продавать...

Мы поднимаемся в скворечник. Ха-Джун садится на тюк и ставит мисочки с лапшой. Почти каждое утро мы завтракаем вместе, вытянув ноги на улицу. У нас с Ха-Джуном много общего. Мы оба любим базар. Базар – это наша семья.

– Лапса-а-а, – улыбается Ха-Джун и снимает с миски серебряную влажную крышку. – Жарко, горячо.

– Лапша и на корейском «лапса»?

Ха-Джун неуверенно кивает. Он говорит по-русски лучше, чем его папа. Тетя считает, что Ха-Джун общается на языке базара. Русскому Ха-Джун учится у меня. Я даже даю ему читать русские книжки, которые тетя покупает за бусины. Она мечтает отдать меня в школу.

Ха-Джун любит рассматривать мои глаза. Говорит, что это как на земной шар смотреть из космоса. Мне не нравятся

голубые глаза, мне хочется такие, как у всех хороших людей. Большие и светлые глаза здесь чаще всего у плохих. Плохие – это таможенники (кроты), охранники (кабаны), сборщики денег (крысы). О них я не напишу ни строчки, потому что писать надо о тех, кого любишь.

Лапшу хорошо всасывать с таким звуком, чтобы всем вокруг тоже становилось вкусно. Тетя говорит, что я ем лапшу как конь. Лапшой во вьетнамском квартале торгует старикашка Йо-Йо, у него она самая острая. Раньше Йо-Йо торговал тапочками, но продавать их ему запретили. В тапочках нашли фенол, и кто-то отравился. Я не знаю, что такое фенол. Йо-Йо сердится, что у него под землей весь склад забит этими тапочками, и они очень красивые, особенно детские, а фенола в них мало, если тапочки до сорокового размера.

Я всасываю лапшу так громко, что Ха-Джун хохочет. Во рту горячо и остро.

– Как вьетнамцы называют Черкизовский рынок? – Я с трудом шевелю языком.

– Хо-о! – Голос Ха-Джуна поднимается и опускается именно так, как мне больше всего нравится.

– Что значит?

– Дыра.

Я втягиваю лапшу еще раз. Глаза слезятся. Алик закончил петь, и на улице снова привычный шум. Тетя говорит, что это как жить у моря. Смотрю на часы. Сегодня нам надо взять три интервью. Тексты для газеты пишу я, но, когда ленюсь,

Ха-Джун дорисовывает то, что не готово.

– Покажи свою работу, – говорю.

Ха-Джун раскладывает передо мной пять экземпляров газеты. Где-то он нарисовал картинки, где-то иероглифы. Я знаю, что Ха-Джун сам придумывает эти иероглифы.

– Навруз покажет нам подземные домики, но тетя знать не должна, – говорю я чуть тише обычного. – Ты молчи.

– А-а-а...

– Но сначала – искусство.

– Кто?

– Искусство. Как это. – Я тыкаю пальцем в рисунки Ха-Джуна.

– А-а-а... Кохэку!

– Кохэку. Еще можно зайти к Арслану, у него вкусные абрикосы, он поделится с журналистами, а еще расскажет нам про свою любимую бабушку, буви...

– Кто такой абрикос?

– Абрикос – такое же вкусное, как лапса, но фрукт.

Ха-Джун удивленно открывает рот. Я видела, как он ел абрикосы, и не один раз.

– Двадцать первое августа. Напиши вот тут иероглифами. Две тысячи шесть. «Черкизовская правда» тоже напиши, такими большими буквами, как только можешь.

Ха-Джун рисует какие-то палочки и кружки.

– Ха-Джун, какая твоя мечта? – спрашиваю, потому что мне хочется рассказать про свою.

– Маленькое будущее, большое будущее?

– Оба.

– Маленькое будущее – новый фотоаппарат, большое будущее – жениться.

– А я хочу, чтобы все читали мою газету. В ней будет все, что я обожаю. И я хочу делать газету с тобой. Это будет наша правда, понимаешь?

Ха-Джун краснеет.

Мы выходим на улицу и бежим к Кохэку. По дороге нам все подмигивают, кивают, машут. Ли угощает сладкими рисовыми шариками. На базаре можно не думать о еде, а просто идти по улицам и со всеми здороваться. Тетя говорит, что на базаре жить плохо. Я с ней спорю. На базаре хорошо. Базар – это живое существо. Если его любить, то оно любит тебя.

Кохэку живет рядом, его крышу видно из моего скворечника. Он торгует разбитыми вазами. Кохэку – единственный японец на весь базар. Говорит, у него была жена-китаянка, но им пришлось уехать, потому что китаянка – это китаянка. Больше он ничего про нее не говорит, только молчит с закрытыми глазами. Когда они переехали в Россию, жена умерла, а Кохэку стал склеивать осколки ваз в новые вазы, а швы выделять золотой краской.

– Это кинцуги, – объясняет Кохэку. – Кинцуги – ух!

Руки у него белые, пальцы тонкие, кисточка размером со спичку. Я смотрю, а Ха-Джун зарисовывает. Делает одну фо-

тографию (экономит пленку). Я пытаюсь придумать вопрос, но не могу отвлечься от рук Кохэку, потому что они кажутся ненастоящими. Я не знаю, сколько Кохэку лет, он похож на старика-ребенка. Кохэку склеивает осколки чаши так ловко, будто они сами этого хотят.

– Это, конечно, красиво, но ведь это сложнее, чем сделать новую вазу? – спрашиваю наконец я. – Это ведь битые вазы, в чем твой секрет?

Я очень люблю этот вопрос, всегда его задаю. В чем твой секрет?

– Нет битое, – говорит Кохэку. – Лишнее – нет. Сломанное – нет. Вот секрет.

– То есть такие вазы тебе больше нравятся?

– Простая чаша – сто рублей. Такая чаша, – Кохэку поднимает ту, над которой работает, – три тысячи рублей.

Мы делаем еще одну фотографию, и я даю задание Ха-Джуну к концу недели проявить пленку. Ха-Джун вытаскивает из кармана блокнот и рисует в нем квадратик и палочки.

– Фи-ло-со-фи-я, – по слогам выговаривает Кохэку и медленно моргает. – Хотите еду? Я буду лапса.

– Спасибо, Кохэку, приходи ты к нам, вечером, а пока у нас много работы.

Кохэку кивает, встает и прячется за черными шторами. На столике внутри его лавки глиняный чайник, портрет красивой женщины и фигурка какого-то бога. На базаре любят богов, и своих, и чужих, на базаре все боги – общие.

– Теперь идем к Наврузу? – спрашиваю я, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не подслушал.

Тетя говорит, что в подземном городе живут те, у кого скворечник занят товаром, у кого нет денег снимать квартиру в многоэтажках у рынка, у кого большие семьи, нет своей точки и кто вообще не торговец. Под землей десять тысяч человек и нет места для туалета. Вужоу, торгующий платками, считает, что в подземном городе живет дьявол Яма и когда-нибудь он выйдет наружу. Вужоу говорит, что ад – это такой же лабиринт, Диюй. Тетя сердится, что все это ерунда, но из-за подземного города всех могут закрыть, потому что там опасно и грязно. Входы под землю спрятаны, чтобы простые люди их не замечали. Наврузу там нравится, потому что он поставил у своей койки телевизор.

– Не-е-е... Абрикос. – На лице Ха-Джуна счастливая улыбка.

– Уговорил.

Арслан живет в узбекском квартале. Каждый раз, когда мы приходим, он дарит нам фрукты. Тетя Арслана ругает, потому что он любит всех женщин. Зубы у Арслана почти полностью золотые, и Ха-Джун тоже мечтает о таких зубах, ведь золото – это к большому счастью.

– Всё тащат и тащат ковры, – ворчит Арслан, не переставая сверкать зубами. – Не знаю, что лучше: ковры, фрукты, джинсы? Столько людей здесь, столько людей...

Напротив Арслана торгует специями Лейла. На руках у

нее малыш Рустам. Мне кажется, они с Арсланом как муж и жена, но почему-то не живут вместе. Малыша Рустама любят все, но Арслан любит его почти как отец.

Один раз я видела, как Лейла разматывает платок на голове. Волосы у нее очень длинные, ниже колен, и Арслан тоже смотрел на эти волосы и грыз ногти. Малыш Рустам в тот момент опрокинул ведро куркумы, и все дороги в узбекском квартале стали оранжевыми.

Арслан протягивает мне абрикос. Его руки черные, потому что на крыше у Арслана сад и ночью он ковырялся в земле. Руки грязные, а абрикос чистый, на нем блестят капельки воды. Арслан помыл абрикос водой из бутылки и держит его аккуратно, чтобы не запачкать.

– У Рустама родятся внуки, а ты так и будешь торговать фруктами! – кричит Лейла. Арслан смотрит на Лейлу и берет еще два абрикоса, но фрукты падают, а потом раздается такой звук, будто у моего уха ударила молния.

Этот звук громче любого звука, который был когда-либо на базаре. Мы падаем на землю, и я закрываю уши. Через ладони слышу высокий крик Лейлы, он будто бы в моей голове. Базар живой, ему стало больно, а когда базару больно – он в ярости.

Ха-Джун хватает меня за руку, с силой тянет вверх и в сторону. Когда мы добегаем до конца улицы, раздается еще один звук и земля под ногами поднимается. Базар встает на дыбы, и мы валимся с его спины. Рядом катятся тележки,

фрукты, мусор, товары. Текут разноцветные реки, люди куда-то бегут с открытыми ртами, выпученными глазами. Хаджун тащит меня вперед. Из головы у него течет кровь, а лицо незнакомое и взрослое, мужское лицо.

Когда мы забегаем в китайский квартал, я вижу тетю, ее лицо тоже другое. Она кричит нам: «Скорее!» Хватает за одежду, и слышно, как трещит ткань. Мы залезаем в скворечник и сидим обнявшись. Тетя говорит, что случилось ужасное. Тетя говорит, что надо сидеть. Тетя говорит, что-то взорвалось рядом с подземным городом. Я оглядываюсь и вижу: в скворечнике не только мы. Но лица у всех другие, и я никого не узнаю. Мне кажется, что и у меня теперь другое лицо.

Через какое-то время к нам поднимается Ли и радуется, что мы целы. Он дает нам сладкие рисовые шарики, но в шариках соленые слезы. Ли говорит, что были взрывы рядом с подземным городом, сначала один, а через минуту – второй. Взрывы были в толпе, а потом началась давка. Ли думает, что взрывы устроили те, кто хочет убить базар. Ли говорит, что многие умерли, и ругает подземный город за то, что там нет счастливых людей.

Вокруг много слов, но я их почти не слышу. Я никогда не видела море, но мне кажется, оно такое же, как эти голоса. Я не понимаю ни единого слова.

– Диюй, Диюй, – говорит кто-то. – Яма ходит вниз, Яма ходит вверх.

– Мы скоро отсюда убежим, – шепчет тетя мне прямо в ухо. – Потерпи немного.

Базар будто шевелится, тихо скулит. Я встаю, раздвигаю шторы, смотрю вниз. Все выглядит по-другому. На другой земле сидит Кохэку и держит белые руки на коленях. По улице течет грязная вода, лежат брошенные ковры. Я вижу тени птиц, которые пролетают над нами. Я поднимаю голову, но небо пустое и тихое.



Я просыпаюсь по будильнику и иду чистить зубы. Через час мне в школу, а тетя едет торговать на ярмарку. Сегодня вечером у нас гости, и мы готовим праздничный стол. Сегодня вечером мы зовем всех, кого можем позвать.

В большом городе жизнь тихая и одинокая, поэтому я все еще пишу статьи для газеты. Когда становится слишком тихо – включаю музыку или телевизор. Раз в неделю ко мне приходит Ха-Джун и уносит газеты на базар. Он говорит, что все собираются вместе, читают и смотрят картинки. Когда кто-то не читает по-русски, то просто говорит то, о чем хочется говорить. Может быть, Ха-Джун все придумывает, чтобы мне не было грустно.

Но скоро и это закончится, потому что Ха-Джун тоже хо-

чет уйти с базара. Он уже устроился на работу и копает траншеи. Он хочет заработать денег и снять себе комнату. Он хочет получить образование и купить себе костюм-тройку. Он хочет поговорить со мной о чем-то именно в костюме-тройке.

Больше всего я хочу вернуться, но я боюсь прийти на базар. Ночью я вижу, как он сворачивается в клубок и плачет. Кабаны, крысы, кроты гонят его в сторону, и базар прячется в темном лесу. Тетя говорит: раз было начало, должен быть конец.

Перед отъездом я зашла к Кохэку. Он сказал, что, если я хочу понять, как люблю базар, мне нужно уехать с базара. Он говорил что-то про любовь, про тоску и детство. Он говорил долго, то на японском, то на русском, то еще на каком-то языке. Я поняла очень мало. Тогда он махнул рукой и подарил мне чашу. Просил каждое утро пить из нее чай и думать о чем-то важном.

Зимовка



На теплотрассе у парка Кусково скоро зацветут одуванчики. Весна сюда приходит рано: земля нагретая, голая. Открытые канализационные люки похожи на барсучьи норы. Из одного люка торчит голова Лёвы, он по привычке засовывает отросшие усы за уши.

Вокруг люков зелено, прошлогодняя и новая трава вперемешку. Бегают мыши-полевки, выползают из-под камней жуки и дождевые черви. На березе рядом – птичьи кормушки из молочных пакетов. Это Егорыч пил молоко, а потом вырезал птичьи кормушки.

– Зима под землей длится дольше, – объясняет Егорыч. – Вот я и резал.

– Фьюить.

В начале зимы Егорыч не смог перевернуться на бок. Он нащупал в темноте свое тело, но оно потеряло чувствительность. Кожа напоминала старый сапог. В полусне почему-то казалось, что в животе поселились мыши.

Под закрытой крышкой люка всегда как с зажмуренными глазами. Кружатся черно-красные точки, мерещится темный тоннель. Где-то в щелке кирпичной стены спрятаны спички. Егорыч повернул голову и позвал спящего в другом углу Лёву. Тот чиркнул спичкой, подсветил Егорычу ноги, живот, лицо.

Мышей не было, только привычное тело. Егорыч смотрел на подсвеченную снизу бороду Лёвы и думал почему-то об

ангелах. Лева сказал: у тебя аллергия на что-нибудь, например на орехи. Егорыч не смог вспомнить, ел ли орехи когда-нибудь. Спичка погасла, Лева выдохнул, снова стало черно и тихо. Егорыч стукнул кулаком в стену, но никто ничего не услышал, не заметил, а он – почти не почувствовал.

Наутро все было как раньше, кроме левой ноги. Неделю Егорыч расхаживал ногу и закалялся снегом. На тихих берегах сидели серые безымянные птицы. Водка не лезла в рот, от нее закрывалось горло. Егорыч закопал водку, перешел на молоко и творог. Ему еще в детдоме рассказывали, что там витамины (кальций). Егорыч тогда не слушался, он никого и никогда не слушался, но запоминал каждое слово.

К Новому году отнялась рука, стало тянуть в боку. Поясницу утром резало так, будто в нее кто-то вцепился зубами. Хотели вызвать врача, но Егорыч все равно убежал бы. Он всегда убегал, если кто-то решил ему сделать доброе.

– Цыц, – сказал Егорыч.

– Фьюить, фьюить.

Егорыч выглянул в щелочку между землей и люком, но ничего не увидел, кроме кусочка снега, ледяной травинки, крыла голубя или, может быть, утки.

Лева бросил водку от любви, так как дал обещание Марии. В начале зимы он гулял по теплотрассе и нашел несвежую газету. Лева сел на землю, раскинул ноги, начал читать.

Часть газеты была испачкана, часть – покусана: видимо, птицы уже растаскали по своим. Лева поднял газету повыше, к солнцу, рассмотрел портрет красивой женщины, а еще – ее слова в ажурной рамочке.

«Мария, Тверь. Ищу порядочного мужчину для создания семьи. О себе: среднего возраста, среднего роста, средней полноты, высокого интеллекта...»

Больше всего Лева понравилась строчка про интеллект, а еще изящные руки Марии. Он не видел в жизни ни одной картины, но такие же пальцы рисуют художники, так подумал Лева. Он дал почитать газету Егорычу, и тот одобрил Марию. Но больше Егорыч заинтересовался статьей о бёрдвотчинге и советами знахарей.

– Из хорошей газеты каждый берет свое: и люди, и мыши, и птицы, – объяснил Лева.

Он отправил письмо с открыткой внутри и с пометкой: ответ не на дом, на ближайшую почту, до востребования. Через две недели пришел конверт, и в нем было не только письмо. Еще светлый, случайный волос, особенный запах и кое-что такое, что Лева не смог описать.

Егорыч увлекся бёрдвотчингом, особенно ему нравились снегири и дубоносы. В газете было написано: bird – птица, watch – смотреть.

– По-русски – птичничество, – додумал Егорыч. – Наблюдать за птицами, то есть птичничать.

– Фьюить.

– Кто здесь?

В черных ветках, белом снегу снегири – как зрелые яблоки, а у дубоносов смешные клювы.

У Егорыча внутри что-то успокоилось, ноги начали слушаться. Хотя один раз Егорыч птичничал и поймал себя на том, что не дышит. Когда-то он дышал просто так, а теперь нужно было думать. Казалось, если не стараться, то ничего не получится.

Егорыч лечился солнцем, снегом, землей, корой, березовым грибом. В птицах его удивляло, что они каждую весну начинают заново. Он ходил по лесу с растрепанной бородой, бледным лицом, опершись о палку. Находил потерянные перчатки, шапки, игрушки, украшал ими голые ветки.

Иногда останавливался у дерева и от усталости слегка дремал, свесив голову. Один раз его увидели дети и закричали, что Егорыч – леший. Егорычу это понравилось, он взял нож и начал делать из бревнышек фигурки каких-то неизвестных божков с клювами. У некоторых из этих божков в животах сидели божки поменьше. Егорыч хотел потом купить краски и раскрасить их клювы в красный, глаза – в зеленый.

Лева предложил Егорычу украсить божками шахту. Он вообще стал ухаживать за их местом, а еще ухаживать за собой. Шахту он называл спальней, вынес из нее три мешка мусора. Укоротил усы, помылся в сугробе, пожаловался на глупую татуировку. Подземным сверчкам дал кошачьи име-

на, а Егорыча именовал сожителем.

Лева ходил на почту, а Егорыч ходил за молочкой. Один раз у магазина к Егорычу подошла девочка в розовом комбинезоне. Она держала в руках палку, на которую был нанизан снежок. Указав на Егорыча палкой, она попросила показать ежей. Кто-то ей сказал, что они у Егорыча в карманах зимуют.

– Зимующих тревожить нельзя, – пошутил Егорыч. – Поэтому до первого одуванчика я не моюсь.

– Значит, ты точно леший. Потерянные варежки на ветки тоже вешаешь ты.

Егорыч влажно и громко закашлялся, чтобы девочка отошла подальше. Он и правда иногда чувствовал, что в куртке кто-то шевелится.

Егорыч засунул руку в карман, потом резко испуганно вытащил.

Мария и Лева договорились встретиться в марте, где-то в Твери, в тихом дворике. Лева начал писать стихи, но очень плохие. Егорыч попросил не читать стихи вслух, затыкал уши, говорил «ля-ля-ля». Но Марии нравилось, ей никогда не писали стихов.

В марте Егорыч птичничал, вернулся и не увидел Леву. Стоял какое-то время и смотрел на бутон одуванчика. Почему-то ему показалось, что Лева без предупреждения уехал

в Тверь.

Но Лева выглянул из-за дерева бритым, в какой-то другой, непривычной одежде. Провел пальцами по пустым щекам и улыбнулся так, что стало видно зубы и удивительные ямочки на щеках.

– Да сколько же тебе лет?! – Егорыч схватился за уши. – Я думал, тебе как мне!

– Двадцать пять, – улыбнулся Лева.

– Курлы.

– Да кто это?

– Что?

– Что?

Вся теплотрасса у парка Кусково покрыта цветами. Просыпаются прошлогодние мухи, летают лениво и медленно. Лева собирает сумку с вещами и рассматривает себя в осколок зеркала. Сумку он постоянно проверяет, ведь вокруг много маленьких животных. Марии он везет печенье «Мария», так как уже знает, что ее это рассмешит.

– Хорошая вышла зимовка, – тихо говорит Лева. – Даже жаль уходить.

Егорыч идет за Левой до конца теплотрассы, потом останавливается. По главной аллее парка Лева идет один. Здесь дорога еще зимняя, снег чавкает под ногами. Когда Лева становится маленьким, Егорыч возвращается домой.

Канализационный люк Егорыч не задвигает – боится, что

не сможет открыть. Куртка становится легче, Егорыч оставляет ее наверху. Куртка шевелится, как будто и правда живая. Егорыч лежит какое-то время в спальне, смотрит в голубой круг. Думает, что, если подняться в космос, Земля будет выглядеть так же. Кирпичные стены спальни пахнут как кожаная сумка. Егорыч утыкается в стену носом и видит приятные сны.

Через две недели на почту поступит письмо от Левы. Он напишет Егорычу, что начал семейную жизнь. Никто не знает наверняка, но, кажется, письмо вернется.

Солнце садится красно, закат как живот снегиря. Егорыч вылезает наверх, улыбается и ложится на землю. Сверху слышны тяжелые крылья, снизу шебуршится земля.

– Так вот ты какой! – удивляется Егорыч. – Показался мне, значит.

– Фьюить.

Божки покрасили в красный цвет клювы и разбрелись по лесу, создали семьи. Потерянные перчатки растворились в потемневших весенних сугробах. Подземные сверчки забыли, как именно их зовут. Птицы расстроились, что люди птичничают теперь так мало. На теплотрассе появилось место, где круглый год цветут одуванчики. Замерзшего ежа нашла у помойки девочка в розовом комбинезоне. Она спрятала ежа в карман, тот отогрелся и ожил.

Зона покоя Укок



Тогда я села в собаку. Собака много чесалась, чтобы от меня отделаться. Нас привели к ветеринару. Блох нет, говорят, а постоянно чешется, что не так?

У ветеринара мы увидели девочку с хомяком. И вот я в девочке, а девочка на ВДНХ, у «Золотого колоса». Едим клубничное мороженое. На бумаге из-за этого пятна, письмо пахнет клубникой. Буквы стараемся писать взрослые, но девочка не слушается, поэтому каждая буква в неправильную сторону. Чувствует, что я в ней сижу. Хорошая девочка, вырастет – будет работать в таможенной службе, большой начальницей станет.

Зеленая спина впереди отходит в сторону. Олень прячет письмо в карман. На стене висит обветшалая карта Кавказа. Напротив за столом, как за партой, сидит квадратный Леший и чешет ухо. Правое плечо ниже левого, важный человек, гранатометчик.

– Куда поскачешь? – Леший косит улыбкой вправо, к низкому плечу.

– В Укок. – Олень скидывает на стол все тяжелое, сваливает патроны. Тело сразу становится легким, будто снял собственные ноги. Опустевшие штанины висят пузырями.

– Куда-а-а?

– Укок, на Алтае.

– Ты ж с Новосиба.

– Родня с Алтая.

– Смотри не кокни никого в своем Укоке. На юге тебе можно все, а на севере ничего нельзя, ема, вот всегда и возвращаются. Здесь тебе все можно, слышишь? Если вернешься – все будет можно.

Леший говорит быстро, хмыкая снова вправо.

Потом я села в старуху-соседку. У старухи дома всюду иконы. Пахнет как в церкви, мне нравится, но толку от этого ноль. Под иконами сидят черти. Копыта вытянули, зубами трещат, рожками друг о друга трутся. Когда старуха поет молитвы – черти ей подпевают.

– Ты возвращайся на новый контракт, ема, здесь твое место. – Леший лезет под парту и вытаскивает коробок с бело-сине-красной лентой. – А пока держи гумпомощь от москвичей, привет им передавай.

Олень берет коробок, поворачивается спиной. Все вокруг с оружием, а у него только штык-нож, зато всегда под рукой. Даже погранцы в Моздоке не отбирают все до конца. Знают: без оружия – как без зубов.

На выходе из штаба-сарая сидит трубач, обнимает свою трубу, как женщину. Вытянул ноги, на сапогах – килограмм глины, говна, грязи. Трубач – пьяница, а еще вор: ворует спирт, и никто его ни разу не поймал, хотя всех остальных ловили. Олень часто разговаривает с трубачом, ведь раз человек ворует, то, скорее всего, не стучит.

– Зачем тебе Алтай? – тоже спрашивает трубач, щурясь от солнечного света. – Тысячи километров отсюда. Ехать будешь месяц, через всю Россию.

– Родня у меня с Алтая. – Олень открывает гумпомощь от москвичей: вязаные перчатки, халва в шоколаде, значок с флагом, открытка с детским рисунком.

– Живая хоть родня?

– Живая. – Олень улыбается. – Письма мне пишут. На вот, понюхай. Клубника.

Трубач берет письмо, нюхает, растерянно смотрит на Оленя. Потом смеется, засовывает письмо Оленю в карман, хлопает его по плечу.

Теперь важные новости: от старухи-соседки я сяду в ее внука, мы поедem в Горно-Алтайск, будем сплаваться там по реке. Лодку подкинет, мы стукнемся головой о камень, упадем на дно. Там живут рыбы, они нерестятся в священной реке Ак-Алаха. Я сяду в такую рыбу, через несколько недель буду на месте, еще и нарядная. У этих рыб к нересту розовеет чешуя.

До Москвы добираться на автобусах, на самолете, на скрипучем поезде без белья. От Казанского вокзала билет покупать за деньги, а потому уже все по-другому. В поезде Москва – Бийск подушка свежая, непривычная. Можно ехать долго и без тошноты. В купе не солдаты, а мужики-ра-

ботяги – едут домой, будут выходить по очереди на темных сибирских станциях. Когда встречаются с Оленем взглядом, плятятся вниз или друг на друга. Олень и без работяг знает, что лицо у него злое, квадратное, как у Лешего. Отросшие волосы черные с белыми пятнами, на щеке шрам, ладони в ожогах – ни одной линии.

Работяги всю дорогу шелестят игральными картами, гремят подстаканниками. Колеса стучат. Все куда-то едут, у всего есть цель. Запах еды смешивается с запахом поезда, постельного белья, немытого тела.

Следующее письмо будет ждать тебя в газетном киоске у автовокзала в Горно-Алтайске. Там продавица днем газеты продает, а ночью превращается в голубя и летает над городом. Она знает, кто ты. Будет возможность – покروши ей хлеба.

Работяги играют, Олень спит. Через сон открывает иногда глаза: в окне за шторками мелькают ели, и чем дальше от Москвы, тем ели темнее, а облака над ними все легче, как птичий пух. Все меньше света внизу, все больше – сверху, в звездах, в солнце, в луне. То ночь, то день. Скрипит поезд. Жарко. Шелестят карты. Шепчутся мужики. Олень опускает окно, ветер дует в лицо. Пахнет теперь и елью, и цветущей сиренью, и какой-то особенной летней сыростью.

В Бийске к Оленю подходит пузатый мент, трет потные ла-

дони, хрустит пальцами. Спрашивает, куда дорога. Говорит Оленю, что в Укоке чума, у шаманов чума, у сусликов тоже. Для Укока нужна прививка, разрешение на посещение места. Территория пограничная: рядом и Китай, и Казахстан, и Монголия. Олень кивает и идет дальше.

Теперь на автобусе до Горно-Алтайска. Автобусы старые, полумертвые, но отправляются часто. Ехать почти весь день, и желающих много: в Горно-Алтайск поезда не ходят. Мимо дороги грохочет река Катунь. На одном берегу едут люди на автобусах и машинах, на другом – на лошадях и повозках. А через сотни километров по Катунь летит рыба с розовой чешуей.

В газетном киоске и правда новое письмо. Продавщица глядит удивленно, глазки маленькие и черные, руки красные. Расчесала, видимо, человеческое тело; куда лучше быть голубем, легче. Олень берет письмо, поднимает голову: в небе облако как птица, раскрыла гигантские крылья, в клюве держит солнце.

Олень садится на бордюр, прижимает письмо к лицу. От письма пахнет как в церкви – ладаном и старым сундуком. Все буквы в неправильную сторону: старуха-соседка тоже непослушная.

Давно не была так близко к родному месту, давно не была так близко к тебе. Скоро мы будем дома.

Олень гладит письмо, и оно становится теплым, как кожа. Перед тем как уйти, он поднимается к продавщице, крошит в блюдце для мелочи хлеб.

До села Беляши автобус только послезавтра, но довезут туристы на белом уазике. Туристы расслабленные, пьяные, в яркой одежде. Спрашивают Оленя, почему-то почти без страха, глядя в глаза: зачем Укок? Там опасно, говорят, там чумные суслики, мертвая трясина, голодные медведицы стерегут медвежат. Укок, конечно, зона покоя, так его называют, заледеневшее кладбище. Сколько нашли там уже древних могил, принцессу Укока нашли и много разных других мертвых принцесс и принцев. Место сильное, конечно, его любят журналисты, эзотерики, психи. В любом путеводителе по Алтаю написано, что когда стоишь и смотришь на степь и горы – чувствуешь особенную энергетику.

И протягивают Оленю рюмку, когда дорога становится чуть ровней, будто для того, чтобы он ничего не отвечал – или, наоборот, выпил и сказал лишнее. Олень смотрит в окно, ему хочется что-нибудь объяснить. Война стерла в голове все, а истории про Укок оставила. Мать рассказывала ему про Укок, там прошло ее детство. И про принцессу Укока, Очы-Бала, она рассказывала ему еще до того, как написали об этом газеты.

Олень выпивает две рюмки, потом объясняет: богатырша Очы-Бала спала в чреве земли, над ее колодой цвела живокость, паслись овцы. Своим телом она закрывала крохот-

ную дверку, через которую темные силы нижнего мира могут проникнуть в мир средний. Когда археологи разорили могилу, на Алтай пришли наводнения, голод, чума. Чем дальше открыт проход в нижний мир, тем больше зла в мире среднем. Наказывать надо археологов, не пускать их к святым местам, а все, что разорили, вернуть обратно...

Туристы молчат, отворачиваются. Потом кто-то говорит, что, может, и захоронят когда-нибудь принцессу Укока заново, сильно возмущена алтайская общественность. Но они, туристы, здесь ни при чем. И наливает Оленю еще.

Больше не разговаривают. За окном становится все темнее, только фары освещают дорогу. Уазик качает из стороны в сторону, как лодку.

*Плавниками письмо не напишешь, так давай помолчим.
Нет ни одного существа тебя важнее и преданнее.*



Звезды в небе – пустота, безвременье. Вдалеке немного огоньков-окон, длинные тени невысоких домов, под ногами – грязь, подвижная и живая. Вокруг медленно ходят лошади с заплетенными в косы хвостами, овцы, козы, легкие люди, невооруженные.

Ехать дальше не на чем. Среди голосов людей и животных шумит речка Козубай. Пахнет мокрыми камнями, талым снегом, рыбьей чешуей. В горах днем лето, а ночью зима. Место для палатки слишком людное, потому опасное. Олень идет к реке, набирает ледяной воды, видит рядом чье-то крыльцо и садится на ступеньки. Все черное, он хватается эту черноту рукой: замерзшее ведро, удочки-ветки, затвердевшая сеть. Рыбацкий, видимо, домик.

Олень ложится на чужое крыльцо, смотрит в небо. Звезды кружатся, собираются то в костер, то в печь, летят горящими пепелинками. Олень поднимает руки, чтобы согреться, но вдруг открывается дверь, за дверью – женщина, в руках фонарик. Она хочет, наверное, впустить Оленя, но смотрит на его квадратное лицо, на голые поднятые руки, на щеку со шрамом. Закрывает дверь, а через минуту открывает снова, протягивает Оленю одеяло, хлеб, кувшин кумыса. От одеяла пахнет шерстью и звериной свободой, от хлеба – дымком.

Просыпается Олень через несколько часов. Небо над головой как неспелая вишня. Звезды оставили только следы. Вдалеке чуть заметны горные шапки с кольцами облаков.

Олень допивает кумыс, доедает хлеб. Достает карту, сверяется, хотя и так знает, куда идти. Дорога на юг, через Чуйскую степь, развороченная колесами и копытами, день пути. Там погранзастава, которую надо обойти стороной, а дальше по берегу реки Тархата, к перевалу Теплый Ключ. После Теплового Ключа – Укок, земля у священной реки Ак-Алаха.

Там нужно найти место, которого река боится.

За спиной скрипит дверь, Олень перестает дышать. Медленно оборачивается – сзади стоит малыш лет пяти, краснощекий, чумазый. Он смотрит на Оленя с любопытством, жуёт огурец.

– Мальчик, есть еще огурцы? – шепчет Олень. – Огурцы в дороге нужны: и вода, и еда. Идти мне долго, несколько дней, если без остановки...

Олень улыбается, чувствует, как ползут вверх брови, морщится лоб. Малыш кивает, возвращается в дом. Олень заглядывает внутрь: в доме серые сумерки, тихо. Под детскими босыми ногами мягко скрипят половицы. Из-за угла появляется кот с рваным ухом. Малыш выходит опять, беззащитный, бесстрашный. В футболке, как в мешке, – с десятков небольших огурцов. На шее у него кожаный ремешок с белым пером и прозрачным камушком.

– Ты ведь знаешь про принцессу Укока? – спрашивает малыша Олень, перекладывая огурцы. – Был в тех местах? Я туда иду.

– Про нее теперь весь мир знает.

– Скоро она вернется в землю.

– А ты кто такой? – спрашивает малыш. Все лицо у него измазано соком, на щеке огуречное семечко. – Богатырь? Шаман?

– Я похороню Очы-Бала там, где она и лежала тысячи лет. Сделаю все, чтобы ее не нашли снова, буду защищать ее по-

кой...

Малыш подходит к Оленю, поднимает голову, неуверенно выпрямляет руки. Глаза у него большие, блестящие. Он будто хочет обнять Оленя, и Оленю от этого беспокойно. Потом становится слышен какой-то неясный шум, и Олень отходит в сторону, а малыш прикрывает скрипучую дверь. Внутри дома гулкие голоса, шелест. Через щель выбегает кот, прячется под крыльцо.

Олень взваливает на спину рюкзак и двигается дальше. Дорога – то грязь, то каменные глыбы, всюду змейками текут ручьи. Олень вспоминает: змейки ищут проход в нижний мир, связывают его с миром средним. Солнце пытается пролезть сквозь дыру в плотной туче из мира верхнего. Из-за тумана не разглядеть ничего, и солнце окрашивает воздух в песочный цвет.

Олень сворачивает с дороги, здесь нужно идти аккуратнее. Обойти пограничников, сделать крюк, но кругом болота. Иногда кажется, что нога ступает туда, где должна бы увязнуть, а встает почему-то твердо. Будто бы кто-то снизу, из-под земли, держит Олений сапог.

Через несколько часов туман рассасывается, и видно, как летают хищные птицы, внимательно глядя вниз. Под их взглядом разбегаются грызуны, а там, где больше воды, ходят цапли. Серое пушистое пятно, похожее на валун, срывается с места, трусит в сторону. Наверно, какой-то дикий кот, может, манул.

Вскоре Олень останавливается, оглядываясь. Нет ничего: ни гор, ни деревьев – ничего выше его самого. Тихо так, будто сидишь под водой. Цапля в болоте медленно поднимает тонкую красную ногу. Опускает клюв в воду, и Олень слышит, как плещется рыба. Он подходит совсем близко, но цапля его не боится, не смотрит, будто Олень – это трава или камень, не человек, а призрак.

В рюкзаке, кроме огурцов, несколько банок тушенки и что-то еще по мелочи; надо искать еду самому, как ищут ее звери. Хоть и есть почему-то не хочется, но ведь надо же есть. Если выйти к горам – там должны быть куропатки, гуси, еще какие-нибудь птицы. Олень проводит рукой по голове – по небритому лицу и затылку. В пальцах остается седой волос, да и борода растет будто бы белая, а не черная, как раньше.

Олень идет вперед, отдыхает немного, потом снова идет вперед. Все одинаковое: одни и те же камни, ровная земля, ни единого дерева. Ноги давно уже просят отдыха, но негде спрятаться. Никогда еще Олень не был в таком открытом месте – от степи болят глаза, жмет виски. Мать говорила: Укок – ладони земли, ни единого волоса.

Олень идет и идет, много часов идет, потом останавливается у валуна. Здесь можно встать на ночь, тем более что снова начинается дождь, колючий, со снегом.

Олень ставит палатку, залезает в нее, как в нору. Достает из рюкзака штык-нож, кладет его рядом с собой вместе

с камнем потяжелее. Леший говорил: никогда не спать без оружия, никогда не спать слишком крепко, а то живые потом не добудятся.

Олень достает письмо, от письма все еще пахнет ладаном, и запах тянет за собой память. Так пахло в платяном шкафу, где он прятался маленьким, глядя в замочную скважину на обои в голубой цветочек. Иногда засыпал в этом шкафу, и вот теперь засыпает так же, спрятав лицо.

Неясно, сколько Олень спит, как будто бы очень долго. Просыпается от того, что снаружи ходят копыта. Олень сжимает одной рукой камень, в другую берет нож. Может, лошадь отбилась от табуна и пришла к человеку?

Олень осторожно встает на четвереньки, подбирается поближе ко входу в палатку. Если кто-то заглянет, Олень сразу же ударит его по голове. Слышится рев, похожий на ослиный, и мужской голос снаружи кого-то успокаивает.

– Кто здесь? – хрипит Олень.

– Чабан.

– Что тебе от меня нужно?

– Узнать, кто ты такой.

– Турист.

– А почему боишься? Туристы никого не боятся, даже медведя, а я не медведь, я человек.

Олень отодвигает ткань палатки, делает маленькую щелку. В щелке видно, что в отдалении стоит верблюд, груженный мешками. Рядом с верблюдом – мужичок в вязаной шап-

ке с помпоном, ростом едва ли Оленю до плеча. Оружия у него явно нет: лицо наивное, румяное, бестолковое. Вместо одного из глаз – кожистая ямка. Одна рука держит красную уздечку верблюда, вторая болтается без дела.

– Мне просто надо одеться, – говорит Олень. – Я голый.

Мужичок улыбается, кивает, гладит верблюда. Верблюд переминается с ноги на ногу. У мужичка лицо загорелое, пережженное, почти такого же цвета, как земля.

– Одевайся и выходи, есть молоко, есть сыр. Меня Петей зовут, а тебя?

Олень смотрит через щелочку вперед, на горизонт. Между горбов верблюда видно степь, а по степи как морская пена – гигантское стадо овец и еще несколько верблюдов с тюками. От овец столько звуков, что неясно, как он из-за них не проснулся.

– Сейчас, – говорит Олень. – Мне снился плохой сон, от усталости.

Он прячет штык-нож в рукав, камень кладет у входа в палатку. Когда выходит, сразу же закрывает лицо руками: глаза отвыкли от света, а здесь все белое. И небо белое, и овечьи спины, и в воде отражается белое небо. Степь наполняется звуками: все больше блеяния овец, топота маленьких копыт, сопения верблюдов, перезвона колокольчиков.

– Плохо у тебя палатка стоит. Если будет сильный ветер – сдует; лучше ночевать в деревне или в машине, и вообще лучше от дороги так далеко не уходить...

Петя крутит головой, смотрит на Оленя то глазом, то кожистой ямкой. Скорее всего, не может понять, почему турист одет как охотник. А если Олень все-таки охотник, то почему у него ни добычи, ни оружия, ни лошади?

– По голосу ты молодой, а похож на старика, странно, – рассуждает Петя, стягивая с головы шапку. – Ты если один – будь осторожен, я подробностей не знаю, но, говорят, пограницы ищут кого-то. Кто-то бродит по степи, но никто его толком не видел. Пограницы говорят, что чумной, туристы – что опасный, а я вот просто передаю всем новости. А шаманы говорят, кадук пришел с берегов Енисея.

– Что значит кадук? – спрашивает Олень, опуская в рукаве штык-нож поближе к пальцам.

– Шаман-олень из неба. Я шаманам верю, конечно, но люди по деревне говорили, что лицо у него такое, что страшно. Ехал с туристами. Они же пограницам про него рассказали, что тот охотится на археологов. Благо их тут сейчас нет, говорят, Ак-Алаха выйдет из берегов, они все разбежались... Каша какая-то, короче, но в степи бывает все, ведь в степи не спрячешься, все как на ладони... Так как тебя зовут?

– Алексей.

Петя снова смотрит на Оленя одним глазом, потом поптичьи поворачивает голову. Уши у Пети торчком, голова как кувшин с ручками.

– У нас в народе есть имя внешнее, есть внутреннее, у тебя одно имя?

– Одно.

Петя поворачивается теперь спиной, подходит к своим тюкам. На верблюде сбоку – кожаный мешочек с разноцветным рисунком и маленький букет каких-то горных цветов.

– Это для жены, – уточняет Петя.

– А что же ты сам его не боишься? – спрашивает Олень.

– Кого?

– Того, кого пограницы ищут.

– Мне шаманиха предсказала долгожительство, в награду за потерянный глаз. У нас многие чабаны стараются от деревни далеко не уходить, а я знаю, что проживу еще двести лет, так звучало предсказание. У нас в деревне шаманиха – мощная баба, ее отец – человек, мать – страус...

Петя снимает мешок с верблюда, садится на землю. Выкладывает вяленое мясо, сыр, хлеб, бутылку с молоком.

– Угощайся, – говорит Петя. – Кем бы ты ни был, так я тебе скажу. Я вижу, что ты хороший человек.

– Как видишь?

– Вот так, – и Петя поворачивается опять тем боком, где нет глаза.

– Сколько еще идти до центра Укока? – спрашивает Олень. – Если без отдыха. День?

– Здесь ты в обход границы пойдешь, нехорошо. Поймают – оштрафуют. Для нас штраф – это настоящая беда, мы деньгами почти не пользуемся. Лучше вернуться.

– А мне все равно.

Петя снова крутит головой. Олень приглядывается к коже на месте глаза, видит крошечное родимое пятнышко, похожее на зрачок.

– Тогда полдня идти, вряд ли больше. А зачем тебе Укок? Ты могилы не копай. Плохо это – копать могилы. Я это знаю. У шаманов нет веры, только знания, поэтому уж есть как есть. Могилы не копай, камни не двигай...

Вокруг них собираются овцы, и Петя улыбается, глядя на них. Улыбка у него белоснежная, как из рекламы. Но легче становится оттого, что что-то рядом выше земли, валунов, кустарников. Верблюжьи горбы, тюки, головы – все разной высоты, как в городе.

– Приходи, Леша, к нам вечером в деревню, наша шаманка будет камлать. Завтра важный день, середина лета.

– Что будет делать?

– Петь, танцевать, бить в бубен, а мы будем прислушиваться. Знаешь, что значит прислушиваться? Это когда слушаешь сюда, слышишь то, что и так знаешь.

Петя бьет себя ладонью в грудь, на глазах у него слезы – то ли от солнца, то ли от чувств.

– Тогда мне здесь надо быть, – отвечает Олень. – Тогда я почти что на месте, дома...

Петя кивает, протягивает Оленю хлеб.

– Ты знаешь, все, кого я тут встречаю, дают мне что-то, почему так?

– На такой земле иначе нельзя, – отвечает Петя, – каж-

дый дает то, что у него есть.

Потом он встает на ноги. Залезает на верблюда, гладит его между ушей, щурясь на солнце.

– Пора нам, боюсь опоздать на праздник. Если надумаешь, ты приходи тоже, иди либо за овцами, либо по овечьим следам, не заблудишься.

Петя говорит, медленно едет вперед. Овцы идут за ним на той же скорости, будто их ведут за невидимый поводок.



Письма Олень читает в памяти, и чем ближе он к цели, тем громче голос внутри, тем больше радости. Священная река Ак-Алаха с каждым часом пути все шире, разливается в стороны змейками. Кажется, что и журчит все громче, будто тоже радуется.

Наконец Олень видит: река изгибается петлей, окружает небольшой островок с треугольным камнем. На островке сидит суслик – но, как замечает Оленя, сразу юркает в норку. Олень снимает разваливающиеся сапоги и ложится, прикладывая ухо к земле. Слушает, как скребется растущая трава, как стучат лапками насекомые, как двигаются в сотне километров от него овечьи стада. Как Петя рвет цветы, как ступают верблюжьи копыта, как шаманиха готовится к тому, что-

бы камлать.

Олень лежит так какое-то время, прислушивается. Потом чувствует, что вода пытается его проглотить. Он не сопротивляется, опускает в воду лицо, открывает глаза и рот. Розовые рыбы плывут в прозрачной воде, как стая птиц в небе. Рядом с ними бьет горячий источник. Душа Очы-Бала просачивается внутрь живота, через рот, ласково щекочет, смеется.

Олень встает, идет босиком дальше, земля мягкая, вода теплая, внутри тела жар. Видит перед собой гору камней, у которых растет живокость. На камнях красные узоры, вокруг них черные тропинки, внутри головы громкий шепот.

В честь праздника не будет ночи. Все души верхнего мира любят тебя. Зло затаилось, чувствует: пора возвращаться, тоже уходит домой...

Олень копает яму. Яма по чуть-чуть наполняется водой, в воде отражается небо. Внутри шепчет голос. Олень копает все глубже, видит, что на дне отверстие в виде замочной скважины. Вход в нижний мир, маленькая черная дверка.

Олень ложится на живот, лбом закрывает замочную скважину. В скважину вода не течет. Он рассматривает то, что внизу. Вспоминает, как смотрел через такое же отверстие на обои в цветочек, на занятых взрослых. Он вообще всегда любил подсматривать – неясно, почему так. Столько жил,

столько натворил, а на самом деле – будто бы просидел всю жизнь в шкафу, не высовываясь.

«Почему ты в шкафу, олененок? Пора спать. Не хочешь? Я расскажу тебе шаманскую сказку. Ты только внимательно слушай. Почему ты не отвечаешь?»

Олень еще глубже опускается вниз, смотрит внимательно. Нижний мир кажется югом: вот сухая земля, вот ветер раскидывает песок, вот разрушенные дома, а у дома – заброшенный сад. Из черной тучи лезет черное солнце, и идущий по дороге черный человек чешет ухо. На черном человеке черное пальто, под пальто – военная форма, лицо квадратное, одно плечо ниже другого.

– Дурак ты, ема. – Леший поднимает голову. – Ведь здесь все тебе было можно, а ты что выбрал?

И Олень дышит, и от его дыхания в нижнем мире поднимается пыльный ветер. Деревья шатаются из стороны в сторону, в саду перезревшие яблоки падают на землю. Олень смотрит еще какое-то время вниз, потом переворачивается на спину. «Спи спокойно, Очы-Бала, – думает Олень, – теперь зло не выйдет наружу».

Мапа Рома



Разные люди говорили Роме, что он – мапа. Он и сам ощущал себя мапой. Сын называл его папой, но подразумевал как будто бы тоже мапу.

– Ты – мапа, – говорила бабушка, и «п» у нее получалась удвоенная, спотыкающаяся. – Ира уйдет, а ты останешься, еще будешь должен.

С бабушкой разговор строился так: она выдавала что-то отвратительное, Рома спорил. Потом она оказывалась права, но из сочувствия делала вид, что не предупреждала.

Ира ушла, но в последнее время у нее было так много работы и командировок, что вернее сказать – не вернулась. После развода договорились, что папа и мама равны, а детский сад уже рядом с папой. У мамы поэтому с Егоркой будут выходные (все, кроме первых в месяце), а у папы – будни.

– А у мапы – вся неделя целиком, – бабушка набрала дыхания, но зависла на экране телефона из-за неустойчивого интернета.

– Мам, ты зависла.

Раз, два, три...

– ...зеленые обезьяны, – договорила бабушка, и Рома кивнул. Может, он что-то неправильно расслышал, но это было неважно.

Поварская смена начиналась в восемь, Рома отводил Егорку в сад к семи. Людей мало, и все ходят чуть согнувшись, будто в страхе, что с неба что-нибудь кинут. Егорка шаркал тяжелыми ботинками, Рома тащил его за руку, в ли-

цо летел колючий снег, морозило щеки, и, если посмотреть на часы, всегда было время опоздания.

Бабушка помогала понемногу, раз в неделю, иногда чаще: погулять, забрать пораньше из сада, приобнять нежно у телевизора. Рома весь день проводил в ресторане, в горячем цеху. Ему нравилось готовить, еще раз – нравилось, ну правда нравилось, но он не понимал, почему за смену он получает столько же, сколько в меню стоит среднее блюдо без мяса.

Зато спал теперь Рома так крепко, как никогда до развода: засыпал прямо в детской кровати, в процессе укладывания, а иногда даже чтения ежевечерней книжки. Егорка сначала будил его, аккуратно стучал по лбу или по носу, а потом просто засыпал рядом, закинув на папу легкие ноги. Ночью Рома просыпался от немоты в теле и шел к себе на диван, хотя спать на диване оставалось уже совсем недолго.

А наутро опять волочился февраль, месяц-старость, и нужно было куда-то идти, потому что каждый день – это будни, вечная середина недели. Собирать поварскую форму и детсадовское, одеваться, одеваться, одеваться: в три слоя одежды, а еще сверху шапка на тесных пуговицах и плюшевый воротник, обсосанный у лица.

Егорку в сад Рома чаще всего приводил первым: охранник включал свет, потягиваясь и щурясь, как гигантский малыш. Потом появлялась какая-то рыжая мама с мальчиком из другой группы: мальчик ревел, Егорка сразу же начинал кривить губы, и Роме тоже хотелось реветь.

– Ты разденешься сам? – он смотрел на часы. – Я пойду, опаздываю на работу.

Егорка отвечал что-то беззвучное, неразборчивое, как Ира во время долгих разговоров перед разводом, и в темном коридоре проносилась тень только что пришедшей на работу воспитательницы.

Рома сбегал на автобус, и отпускало его только ближе к метро, когда можно было погрузиться в новости, в картинки и мемы, в фотографии чужих людей. Пассажиры перекатывались с ноги на ногу у эскалатора, было жарко и липко, пересадка, пересадка, Рома всегда уступал место какой-нибудь грустной женщине в темно-синем, подъем – снова в холод. Потом работа на ногах, резать, резать, стругать, жарить, парить, перекур – и снова.

– Уж лучше с тобой, чем с его биологическим отцом, – говорила Ира. – Уж лучше с тобой, чем со мной, потому что я не справлюсь, а ты – справишься, он любит тебя больше всех, а с тем патлатым чмом вообще не знаком.

– Так папа я или не папа? – Рома набирал сообщение, а потом стирал.

Посветлевшее утро 8 Марта: Егорка в костюме гнома с самым маленьким стишком на всю группу, всего две строчки. Рома ерзал на жестком стуле и ворочал внутри себя что-то матерное: о пришедших родителях, о непришедшей Ире, о тех, у кого хотя бы три строчки, а не две, а то и целый стишок или, может быть, даже песня.

Бабушка сидела рядом, застыв с поднятой рукой, чтобы снять все на видео. Рома подносил рукав ко рту, потому что хотелось что-нибудь укусить. Рукав пропах фритюрницей, прогорклым маслом, как будто Рома работал не в ресторане высокой кухни, а закручивал шаурму в подворотне.

К окончанию утренника все вместе пели песню про маму, а самые высокие мальчики (Егорка им, кажется, по пояс) подарили воспитательницам вялые тюльпаны.

– Ребенку нужно есть фрукты, а то заболит, – говорила бабушка, когда они возвращались после утренника, она – домой, Рома – в горячий цех. – А то лицо у него как гномий колпак, зеленое, весь день ведь проводит в саду...

– Да не заболит.

– А еще надо вызвать сантехника. Под ванной у вас вечная лужа.

Рома раздраженно втянул носом воздух и пнул ледышку.

– Я видел, на выходных посмотрю, сейчас некогда.

Когда Егорка заболел – Рома впервые за пятнадцать рабочих лет взял больничный, потому что тоже чувствовал себя больным, хоть и не температурил. На кухне отпрашиваться не принято, нужно приходиться любым, потому что иначе все зашиваются. Но Рома все-таки отпросился: накормил Егорку детским нурофеном и виноградом, почитал книжку, уложил на дневной сон. Егорка заснул быстро, выпятив остренький чужой подбородок, доставшийся, видимо, от настоящего папы.

Рома заснул рядом, но проснулся через час оттого, что бледное мартовское солнце нагрело ему правую щеку. Дома ощущалась весна: на подоконнике расцвел старый кактус, снаружи курлыкал голубь, а еще что-то капало. Ира предложила помочь, если у Ромы запара, и в этом тоже было что-то весеннее, оттаявшее.

– Ты хороший человек, – говорила Ира по видео, нервно отковыривая лак с ногтей. – Если бы не ты, мы бы все уже умерли, человечество бы вымерло, понимаешь?

К вечеру приехала бабушка и приготовила что-то такое, что Рома ел у нее последний раз в детстве: макароны по-флотски, а не болоньезе, компот с мягкими розовыми вишнями на дне стакана. Эта простая еда как будто возвращала силы, и потом они втроем читали Жюль Верна, и страницы книги были желтыми, хрупкими как листья. Между таких страниц всегда можно что-нибудь найти: засушенный клевер или розовый лепесток. Читая, Рома вспоминал, как впервые увидел сверток в коляске, плоское лицо в полосатой шапочке. Ира шутила: это Джабба Хат, только маленький, а ты ему теперь как отец, а точнее – без «как».

Когда спала температура, Рома с Егоркой пошли гулять в ближайший лесопарк. Выйдя из дома, сразу же нашли островок сухого асфальта и вернулись, чтобы взять мелки и скейт-борд. Стоявшая у подъезда «Волга» показала удивленный стеклянный глаз: ее почти никогда не чистили, поэтому по ней можно было отслеживать времена года.

Они прошли через лес, и в особенных местах здесь проклевывались какие-то весенние нежные цветочки, которые хотелось назвать подснежниками. Рома открыл рот и подержал его какое-то время открытым, просто так.

– Я тебя люблю, – мало какие слова вызывали у него больший ужас и неудобство.

– И я тебя, – Егорка снова присосался к плюшевому воротнику, а после наклонился, чтобы понюхать цветок. – Пахнет ватрушкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.